

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

### Образование кабинета. Амнистия. Закон о выборах.

\* В первые дни после 17 октября мне было сообщено из департамента полиции, что было бы неудобно мне оставаться на Каменноостровском проспекте в моем собственном доме. Так как это помещение для меня весьма удобно, то я не хотел его оставить, но мне передали, что, в виду отдаленности этого дома от министерств и центра, а с другой стороны, необходимости министрам и другим высокопоставленным лицам приезжать ко мне, будет крайне трудно их охранять во время проезда ко мне и, в особенности, въезда в мой дом.

Мне предложили занять помещение в запасном доме при Зимнем дворце, помещение, которое занимал управляющий Зимним дворцом генерал Сперанский, а для канцелярии помещение, находящееся рядом, которое занимал тоже один из чинов министерства двора. Хотя это для меня было крайне неудобно, но я был вынужден на это согласиться, и через несколько дней после моего назначения, приблизительно около 27 октября, я переехал в новое помещение налегке, почти ничего не трогая из моего дома, в который, я был уверен, что скоро придется вернуться или живым или мертвым.

В течение этих 10 дней, когда я продолжал жить в моем доме, я жил так же, как я жил ранее, не допуская никакой полицейской охраны, и чувствовал себя совершенно спокойным, дверь моего дома была открыта, и ко мне приходили люди без особого разбора. Дежурил только днем один чиновник комитета министров и курьер.

В городе забастовки начали улегаться и сравнительно все было спокойно. В эти ближайшие дни после 17 октября, когда я еще жил в своем доме, помню еще следующие эпизоды. Как-то

приходили ко мне рабочие, жалуясь, что некоторых из их товарищей зря арестовали. Я их послал к генерал-губернатору Трепову. Они сначала не хотели идти, а потом взяли от меня записочку на имя Трепова, в которой я просил генерал-губернатора их выслушать и, если их претензия окажется справедливой, то удовлетворить. Затем я, как до переезда в дворцовый дом, так и после, принимал несколько раз рабочего Ушакова с товарищами. Они в то время были рабочими-консерваторами, которые враждовали с рабочими-революционерами и анархистами, в лагере которых оказалось громадное большинство рабочих. Это громадное большинство образовало совет рабочих с Носарем во главе.

После моего ухода с поста председателя совета, некоторые газеты распространили слух, будто бы у меня был Носарь и депутаты совета рабочих. Нашлись такие, которые уверяли, что, собственно, чуть ли не мною создан этот совет, а негодяи из союза русского народа распространяли слух, что я находился с советом рабочих и с рабочими-революционерами в преступных отношениях.

Газета «чего изволите», т.-е. «Новое Время», также очень была недовольна моим поведением относительно сего совета. Она пустила глупую шутку, что было в это время два правительства—правительство графа Витте и правительство Носаря, и что было неизвестно, кто кого ранее арестует: я Носаря или Носарь меня. Об этом совете рабочих и Носаре я еще буду писать впоследствии. Покуда же скажу, что никогда в жизни я Носаря не видел, никогда ни в каких сношениях с ним и с советом рабочих, а равно и с рабочими-революционерами и анархистами я не состоял. Никогда рабочих, входящих в организацию совета рабочих, я, как таковых, не принимал и, если бы они ко мне явились, как таковые, то я их направил бы к градоначальнику. Вообще, этому совету я не придавал особого значения. Он и не имел такого значения. Во-первых, впредь до арестования, по моему распоряжению, совета, он имел влияние на рабочих только петербургского района и не имел значения вне Петербурга, а потому смешно говорить серьезно о значении его вообще. Во-вторых, как только оказалось нужным его арестовать, я его и арестовал без всяких инцидентов и не пролил ни капли крови.

Но так как главный стимул «Нового Времени» это нажива, а в то время рабочие типографии Суворина гораздо более слушались совета рабочих с Носарем во главе, нежели самого Суворина, то он, а потому и его газета придали совершенно исключительное значение этому совету и Носарю, сосредоточив на этом прыще революции весь революционный вопрос 1905 года.

Между тем сплетни об этом совете рабочих, Носаре и моих к ним отношениях настолько глубоко распространились, что еще в зиму этого года <sup>1)</sup> приезжал в Петербург агент министерства финансов в Берлине П. И. Миллер (только что теперь назначенный товарищем министра торговли Тимирязева), которого я хорошо знаю, так как он долго при мне служил, и к которому я сохранил хорошие чувства <sup>2)</sup>).

Вот в разговоре с Миллером я его спросил, что собою представляет лейтенант Бок, который только что женился на дочери премьера Столыпина и потому получил место морского агента в Берлине. Он мне его, Бока, а также его жену очень похвалил, но прибавил, что перед выездом из Берлина (это после моей речи) он слышал от madame Бок, что будто бы в министерстве ее батюшки Столыпина, т.-е. в министерстве внутренних дел, имеются какие-то компрометирующие меня бумаги по моим сношениям с советом рабочих и с Носарем. Не может быть, чтобы госпожа Бок слышала это от своего батюшки, вероятнее всего, что она могла слышать это от своей матушки или ее братьев, господ Нейдгартов. Вот вам и порядочные люди . .

Вообще после 17 октября на улицах было совершенно спокойно, никаких грабежей и кровопролитий не было, хотя Петербург оставался в обыкновенных условиях, без всяких усиленных, чрезвычайных и военных положений. Я просил Трепова не трогать никаких демонстрантов, если только они не нарушают порядка и активно не революционируют, и войска не держать на улицах, а в казармах и дворах всех дворцов и казенных учреждений, если только есть что существенное охранять. Трепов это исполнил, отдав такое распоряжение. Еще до 17 октября он занимал, кроме поста товарища министра внутренних дел и петербургского генерал-губернатора с особыми полномочиями, также пост начальника петербургского гарнизона, т.-е. ему подчинялись все войска, находящиеся в Петербурге. Петербург находился в обыкновенном положении во все время моего премьерства, а с моего ухода до сего времени он находится в чрезвычайном положении, т.-е. изъят из действий

<sup>1)</sup> 1909 г.

<sup>2)</sup> Он приезжал в Петербург как раз после моей речи в Государственном Совете по поводу штатов морского генерального штаба, чуть-чуть не свалившей все Столыпинское министерство с ним—Столыпиным—во главе. Если он тогда не свалился, то только потому, что, в сущности, делает все, что ему прикажут. Говоря мою речь, я совсем не имел в виду Столыпина и не подозревал, что он будет подавать со своими министрами голоса против взглядов, мною выставленных, с которыми его величество вынужден был согласиться, не утвердив эти штаты. Они имели громадное принципиальное значение.

общих законов. С тех пор, т.-е. со времени моего ухода, и пошли в Петербурге анархические и черносотенные покушения, убийства и грабежи.

Итак, после 17-го в Петербурге было все спокойно, ходили демонстранты по улицам с различными знаменами, но видя, что на них не обращают внимания, успокоились. Вообще, город начал быстро принимать свой обыкновенный вид—водопровод, освещение, конки и вообще городские устройства начали действовать более или менее нормально, несмотря на все усилия совета рабочих (Носаря) продолжать революционировать рабочих. Но значение совета и вообще дух революционный, объединявший рабочих, начал с каждым днем все более и более падать.

Уже некоторые фабрики начали работать и вскоре прекратилась забастовка всех фабричных рабочих и забастовки железных дорог; хотя и делались всякие попытки, чтобы создать единодушно забастовку, но это было все более и более безуспешно.

Во все время моего премьерства только раз пришлось употребить в Петербурге оружие, и при следующих условиях. Это было немедленно после 17 октября, когда я еще находился на Каменноостровском проспекте, у себя. Вызывает меня по телефону директор Технологического института, которого я лично не знал, и говорит мне, что около технологического института стоит масса народа, требуя выдачи чего-то, что было по слухам скрыто начальством в этом институте, и что для очистки улицы вызвана часть Семеновского полка, что он просит меня предупредить кровопролитие. Я ему отвечаю, что всего этого не знаю, а потому вмешиваться не могу. Он меня просил вызвать к телефону находившегося там же дежурного офицера. Офицер, почему-то дежуривший при технологическом институте, который был закрыт, подтвердил мне, что толпа стоит спокойно, что она думает, что кто-то арестован в здании института, что он, несомненно, убедит толпу, что она ошибается, а потому разойдется, но что по распоряжению генерал-губернатора вызвана часть Семеновского полка, что эта часть уже наступает, и может произойти серьезное кровопролитие по недоразумению. Я его спросил, в чьем ведении находятся войска в этом районе,—он мне ответил, что в ведении командира Семеновского полка, генерала Мина. Я его не знал и затем никогда в жизни не видел. Думаю, что он был честный человек, всегда исполнял свой долг, как военный. Он погиб возмутительно от руки революционерки после моего ухода.

Если всякие политические убийства, с какой бы стороны они ни шли—возмутительны, и не могут иметь никакого оправдания, то они в особенности возмутительны, когда относятся до лиц не лживых, не коварных, не подлых, а лишь исполняющих

свой долг, хотя бы лиц, может быть, и тупых. Я о генерале Мине и этого сказать не могу и, вообще, я о нем не знаю ничего дурного. В Москве он распоряжался при подавлении восстания, может быть, сурово-прямолинейно, но когда идет открытая бойня, с баррикадами, то военные всегда должны быть прежде всего военными, а войска—войском; иначе это не будут войска и от их непосредственных начальников нельзя требовать бисмарковских дипломатических способностей. Вечная ему память.

Итак, я вызвал генерала Мина к телефону и говорю ему, в чем дело. Он принял обидчивый тон и указал мне на закон, по которому, раз вызваны войска, дело и ответственность переходят на военнначальника, что значило, что это его дело. Я ему отвечаю, что закон этот я знаю, что он прав, что он теперь полный хозяин, но я тем не менее имею все-таки нравственное право просить его не проливать без крайней нужды крови и постараться окончить дело спокойно. «Я ведь не имею претензии вам отдавать приказания, а просто вас прошу, как человек, которому его величество счел необходимым оказать доверие», сказал я.

Этим наш разговор по телефону и кончился. Я узнал после, что этот инцидент кончился так. Насколько помню, несколько, во всяком случае не десяток, а единиц пострадали, при чем профессору Тарле была легко расшиблена голова. Это было единственное кровопролитие правительственной силою в Петербурге за все время моего премьерства. Признаться, я тогда Тарле не пожалел, так как он все смутное время в университете читал тенденциозные лекции о французской революции и не счел приличным хотя бы после 17 октября держать себя спокойно, как подобало бы себя уважающему профессору.

Возвращаюсь к образованию моего министерства после 17 октября. Из предыдущего изложения видно, что к замещению подлежали следующие посты: министра народного просвещения, министра внутренних дел, министра торговли, министра земледелия и государственного контролера, и что для замещения сих должностей мною были приглашены: князь Е. Трубецкой, князь Урусов, М. А. Стахович, Гучков и Д. Н. Шипов и что они съехались с некоторым замедлением вследствие забастовки на железных дорогах. Вот, с этими лицами у меня состоялось несколько совещаний, продолжавшихся дня два или три.

В этих совещаниях кроме перечисленных лиц участвовал и князь А. Д. Оболенский, уже назначенный обер-прокурором святейшего синода, и более никто.

В настоящее время идут различные рассказы о том, что говорилось на этих совещаниях. Все эти рассказы не верны, и ими

преследуются те или другие цели. Только перечисленные лица могут воспроизвести в точности, что на совещаниях этих говорилось.

Во время этих совещаний уже выяснилось, что министрами юстиции будет Манухин, иностранных дел—граф Ламсдорф, военным—генерал Редигер, морским—адмирал Бирилев, обер-прокурором синода — князь Оболенский, финансов — Шипов (И. П.) и земледелия—Кутлер, так как Шванебах ушел и Стахович ранее совещания заявил, что никакого места в министерстве не примет, желая избираться в Думу. На Кутлере я остановился как на одном из наиболее деловых сотрудников моих во время управления мною финансами империи и как на человеке чистом и вообще весьма порядочном. Все перечисленные лица не сделали никаких возражений в сказанных совещаниях, т.-е. приглашенные мной общественные деятели не сделали препятствий быть коллегами сказанных лиц. Точно так при обмене мыслей относительно политики министерства также не произошло никаких несогласий, впрочем, на этом предмете долго не останавливались, так как политика моего министерства определялась моим всеподданнейшим докладом, опубликованным одновременно с манифестом 17 октября. Относительно этой политики больше всего разговора вызвал вопрос о выборах в Государственную Думу. Лица из общественных деятелей желали знать, какой политики я буду держаться относительно выборов в Думу, и здесь также у нас не вышло никаких разногласий.

Было выяснено, что вопрос о выборах уже значительно предрешен п. 2-м манифеста 17 октября, который гласит: «Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе по мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие избирательного права вновь установленному порядку». Значит, создание новых начал для выборов против уже установленных законом 6-го августа в бытность мою в Америке было невозможно, можно было только расширить круг избирателей, не нарушая основания выборного закона и не замедляя этим расширением созыва первой Государственной Думы, т.-е. осуществление на деле конституции.

Таким образом не мне принадлежали основания выборного закона, давшего первую и вторую Думы; между тем, левые упрекали меня при объявлении манифеста 17 октября, что я не провозгласил прямых, всеобщих и равных для всех выборов, а впоследствии правые, которые совсем забыли п. 2-й манифеста

17 октября, меня упрекали, что выборный закон, давший первую и вторую Думы, был чересчур широк <sup>1)</sup>.

Затем после 6-го августа, т.-е. закона о законосовещательной Думе, с высочайшего соизволения последовал циркуляр министра внутренних дел Булыгина (от 22-го сентября 1905 года за № 63), требующий безотлагательного составления списков выборщиков, при чем рекомендовалось, чтобы распубликование списков последовало не позднее 15-го октября (т.-е. за два дня до манифеста 17-го). В этом циркуляре объявлялось о высочайшей воле, чтобы Дума была собрана не позднее половины января 1906 года (а между тем лишь одно расширение выборного закона без изменения его оснований было одною из главных причин, что Дума была собрана к 23 апреля). Далее в этом циркуляре говорилось:

«Священная воля его императорского величества обязывает всех, на коих лежит наблюдение за правильностью производства выборов, всеми мерами обеспечить населению возможность спокойно и без всякого постороннего вмешательства указать тех именно избранных, которые пользуются его наибольшим доверием. Посему я поручаю вашему особливому вниманию наблюдение за тем, чтобы должностные лица и учреждения не допускали с своей стороны никакого, даже самого отдаленного вмешательства в производство населением выборов в Государственную Думу» <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> \* Это побудило Столыпина самым бесцеремонным образом нарушить манифест 17 октября, основные законы, изданные после манифеста, а следовательно конституцию, и издать своеобразный избирательный закон 3-го июня 1907 года посредством манифеста. Если бы этот закон был лучше прежнего выборного закона и надолго покончил с революционными эксцессами, я бы мог его оправдать, хотя, конечно, закон этот был актом государственного переворота, но мне представляется, что этот закон искусственный, что он не даст успокоения, как основанный не на каких-либо твердых принципах, а на крайне шатких подсчетах и построениях.

В законе этом выразилась все та же тенденциозная мысль, которую Столыпин выражал в Государственной Думе, что Россия существует для избранных 130.000, т.-е. для дворян, что законы делаются, имея в виду сильных, а не слабых, а потому закон 3-го июня не может претендовать на то, что он дает «выборных» членов Думы, он дает «подобранных» членов Думы, подобранных так, чтобы решения были преимущественно в пользу привилегированных и сильных. Теперешняя Государственная Дума есть Дума не «выборная», а «подбранная».\*

<sup>2)</sup> \* А за сим, когда во второй половине апреля 1906 г. я покинул пост председателя совета, «священная воля его императорского величества», чтобы выборы были свободны, не помешала государю выразить мне как бы упрек, что я и правительство не воздействовали на выборы и что потому получилась Дума такая левая. Теперь действительно выборы в значительной степени фальсифицируются, чему наглядным и поразительным примером служит то, что происходит в Одессе относительно выборов в Думу одного члена Думы завтра, 27 сентября 1908 года. Это не выборы, а издевательство над населением\*.

Таким образом, в совещании с общественными деятелями, приглашенными принять участие в министерстве, был поднят только вопрос, в какой именно степени будет расширен закон, соблюдая п. 2 манифеста 17-го октября. По этому предмету я передал присутствующим, что этот вопрос не предрешен именно потому, что министерство окончательно не сформировано и что, если они войдут в министерство, то будут совершенно свободны высказывать свои мнения и принять активное и ответственное участие в составлении закона, расширяющего выборный закон 6-го августа.

Действительно, ранее этого совещания до переезда моего в дворцовый дом, но после 17-го октября, я как-то собрал в здании Государственного Совета совещание с бывшими тогда министрами, в том числе и Шванебахом, переговорить об исполнении п. 2 манифеста 17-го октября, но на этом совещании ничего не было предрешено.

Князь Оболенский (новый прокурор святейшего синода) желал, по моему мнению, чересчур широкого расширения контингента выборщиков, а напротив, Шванебах проповедывал необходимость не допускать к выборам ни рабочих, ни лиц так называемых либеральных профессий, и мои замечания по поводу доводов, представленных Шванебахом, дали ему ясно понять, что он оставаться в моем министерстве не может.

Мое разногласие с приглашенными общественными деятелями произошло на вопросе, кто будет министр внутренних дел.

К этому времени уже выяснилось, что крайние левые не успокоились манифестом 17-го октября и вообще буржуазной конституцией, что вообще смута в умах так распространилась, что еще придется переживать большие эксцессы с их стороны; но что было самое серьезное, это—то, что конституционно-демократическая партия (кадеты), затем изменившая для большей популярности кличку в партию «народной свободы», которая, конечно, в особенности тогда имела в своей среде людей наиболее культурных и серьезно образованных, не решалась явно порвать свои связи с крайними революционерами, исповедующими революционные насилия, до бомб включительно.

Такое положение вещей, конечно, требовало со стороны начальника полиции во всей империи большой опытности, в особенности в виду того, что в последние годы полиция везде была совершенно дезорганизована. Самое поверхностное знакомство с князем Урусовым привело меня к заключению, что он в этом деле не имеет никакой опытности. Князь Оболенский, который так усиленно мне рекомендовал князя Урусова, после приезда сказанных общественных деятелей на совещание, сам



выразил мне сомнение в том, может ли князь Урусов занять пост министра внутренних дел. Это меня побудило в совещании высказать, что чем более я думаю, тем более прихожу к необходимости предложить пост министра внутренних дел П. Н. Дурново, но большинство членов совещания высказалось против Дурново, с своей стороны не указывая ни на кого, кто бы мог занять этот пост. Было кем-то упомянуто имя Столыпина, некоторые отнеслись к этому предложению сочувственно, но были и такие, которые сказали, что он очень неопределенный, умеет уживаться со всяким направлением. Насколько помню, это выражал Д. Н. Шипов. Я, с своей стороны, сказал, что Столыпина не знаю, но что, как губернатор, он пользуется хорошою репутацией. Затем члены совещания настаивали, чтобы я принял на себя министерство внутренних дел. Я на это согласиться не мог, так как, во-первых, чувствовал, что не буду иметь на это времени, и, действительно, занимая лишь пост председателя совета в это еще не столько революционное, как сумасшедшее время, я занимался по 16—18 часов в сутки, а во-вторых, главное потому, что министр внутренних дел есть министр и полиции всей империи и империи полицейской *par excellence*, я же полицейским делом ни с какой стороны никогда в жизни не занимался, знал только, что там творится много и много гадостей.

Не в такое время, как мы переживали во время моего министерства, можно было спокойно изучать и затем преобразовывать полицию. В это время нужно было действовать, и каждый день был дорог. Поэтому в крайности я согласился бы принять всякое министерство, не исключая даже военного, тем более, что многие мне были хорошо известны, но я никогда не согласился бы принять министерство внутренних дел, которое было и до настоящего времени у нас в России и есть по преимуществу министерство полиции. Отделять же в то время полицию от министерства внутренних дел и образовывать особое министерство полиции (в виде бывшего III отделения), значило бы в глазах общества идти совершенно вразрез принципам, провозглашенным манифестом 17-го октября, т.-е. водворения гражданской свободы.

Вся предыдущая карьера П. Н. Дурново, как я высказывал присутствующим, не дает мне основания относиться к нему критически в такое трудное время. Во всяком случае я его предпочитаю сотрудникам Горемыкина (Рачковский; директор департамента полиции, ныне сенатор, Зволянский), сотрудникам Плеве (Лопухин, Зубатов, Штюмер) и сотрудникам Трепова (тот же Рачковский, Гарин, Зубатов).

Теперь же я сказал бы, что я его предпочитаю сотрудникам Столыпина (Курлов, Толмачев, Азеф, Гартинг, Ландезен и проч.).

Князь Оболенский поддерживал мои соображения относительно Дурново. Но кто меня удивил, это князь Урусов, который высказал, что в такое время не следует вносить рознь из-за личных симпатий или антипатий, и, чтобы показать на деле, что он не имеет ничего против назначения П. Н. Дурново министром внутренних дел, он готов пойти к нему в товарищи.

После этого наше совещание было прервано, так как приглашенные решили ранее, чем сказать окончательно да или нет, переговорить и обдумать.

Тем временем я виделся с Дурново и высказал ему откровенно, что общественные деятели во всем находятся со мной в согласии и готовы вступить в министерство, но что разногласие произошло лишь по вопросу о назначении министра внутренних дел, я высказался за назначение его—Дурново, а общественные деятели желают, чтобы я принял это министерство и во всяком случае, повидимому, не желают служить с ним. Он был очень сконфужен, просил меня, если он не будет назначен, скорее его освободить от временного управления министерством после ухода Булыгина и спросил: «Что они против меня имеют?» Я ему ответил, что они не объясняют, но, вероятно, все это женские его истории, довольно в свое время шумевшие. На это он ответил: «Да, действительно, в этом я грешен». Так мы и разошлись.

В то время, когда общественные деятели совещались, войти ли им в мое министерство при министре внутренних дел Дурново или нет, я с своей стороны окончательно решил назначить Дурново. Решение это основывалось на том, что я решительно не видел, кого мне предложить назначить помимо его из таких деятелей, которые знали бы то дело, к которому призываются, не поддавали бы под влияние всей полицейской клики и не были бы манекенами в руках удалившегося, чтобы иметь еще большее влияние, генерала Трепова.

Между тем, когда я заговорил с государем о предстоящем совещании с общественными деятелями и о Дурново, то по поводу предложения о назначении князя Урусова министром внутренних дел его величество ничего не сказал, а к назначению Дурново отнесся довольно отрицательно. Сам же во время этого разговора ни на кого не указал.

Когда же, уже будучи комендантом, меня спросил Трепов о моих кандидатах на пост министра внутренних дел и я сказал, что вопрос этот еще не решен, но имеется в виду князь Урусов, он отнесся к Урусову крайне враждебно, к Дурново недоброжелательно и советовал мне самому взять это министерство. Я ему ответил только, что это невозможно.

Такое отношение к Дурново в Царском Селе служило мне также одним из доводов именно в пользу назначения Дурново, так как я уже тогда инстинктивно понимал, что Трепов стремится управлять министерством внутренних дел или, вернее, полицией во всех ее видах, а потому желает или чтобы министром внутренних дел был его человек, или был совершенным новичком и профаном в тех тайнах и пружинах, на которых основывается все полицейское управление империей.

Вечером того же дня, когда у меня было совещание, или на другой день, хорошо не помню, мы опять собрались в том же составе, при чем Д. Н. Шипов, А. И. Гучков и князь Трубецкой высказались, что они не могут войти в министерство в случае, если министром внутренних дел будет Дурново; я же заявил, что принять министерство внутренних дел не могу и не вижу никого, кто бы мог быть назначен министром внутренних дел в настоящее время, кроме Дурново; князь Урусов заявил, что он согласен принять место товарища Дурново по министерству внутренних дел. На этом мы разошлись, при чем я был бы не искренен, если бы не высказал то, может быть совершенно неосновательное, впечатление, что в то время общественные деятели побаивались бомб и браунингов, которые были в большом ходу против власть имущих, и что это был одним из внутренних мотивов, который шептал каждому в глубине души: «Лучше подальше от опасности».

Мы разошлись совершенно дружески, употребляя это слово в деловом смысле, и я просил этих лиц обсудить вопрос о том, в каком смысле и объеме можно расширить выборный закон, оставаясь в пределах манифеста 17-го октября. Они мне сказали, что им удобнее исполнить эту работу в Москве, я просил их сделать это возможно скорее, так как исполнением ст. 2 манифеста замедляются выборы и, следовательно, созыв Думы.

После этого для пополнения министерства мне предстояло пригласить министров: внутренних дел, просвещения, торговли и государственного контролера. В министры внутренних дел я представил Дурново, прося одновременно назначить его и в Государственный Совет, так как Дурново, если бы и не вошел в министерство, по всем бывшим примерам имел на то право. Государь согласился назначить Дурново членом Государственного Совета, что же касается министра внутренних дел, то назначил его лишь управляющим министерством и неохотно. Таким назначением его величество сразу дал понять Дурново: потрафишь мне, тогда на все прошедшее и в том числе на сенаторский либерализм будет поставлен крест, не потрафишь, тогда будешь

начальствовать недолго. А ведь для того, чтобы потрафить государю, нужно было прежде всего потрафить генералу Трепову.

Вот Дурново и не выдержал этот искус, он начал подделываться под государя, под великого князя Николая Николаевича, под Дубровина и даже под Трепова, поскольку Трепов качался направо, и относился к нему—Трепову—благожелательно-равнодушно при его—Трепова—скачках налево.

Дурново, во время моего премьерства, ни разу мне не говорил о своих докладах и беседах с его величеством, но, зная хорошо государя, я ясно себе представляю разговор государя с министром внутренних дел. Дурново, например, говорит: «Ваше величество, на это место следовало бы назначить такого-то, он бы показал, как либеральничать»,—ответ: «Да, это отличное назначение, почему же вы его не представляете?»—«Я не знаю, как к этому назначению отнесется граф Витте, он всех таких лиц называет черносотенцами».—«А какое до этого дело Витте, его дело председательствовать в совете и только». Или я себе представляю такую беседу:—«Вот, ваше величество, мы решили в совете уволить графа Подгоричани из корпуса жандармов за то, что он устроил еврейский погром в Гомеле».—«Я еще не видел журнала, неужели единогласно, разве вы, как министр внутренних дел и шеф жандармов, на это согласились?»—«Да, ваше величество, я не мог пойти в этом деле против графа Витте».—«Напрасно, это графа Витте совсем не касается, это не его дело. Вообще, каждый министр должен действовать самостоятельно и испрашивать моих указаний».

Когда П. Н. Дурново увидел направление государя и то, что я был назначен председателем по необходимости, что я играть роль ширмы не намерен, и что государь, как только ему окажется возможным найти более солидную ширму, со мной охотно расстанется, то он—Дурново—и решил, что лучше быть *persona gratissima* в Царском Селе, нежели в Петербурге у графа Витте, тем более, что наша жизнь так коротка, а пребывание на постах министров еще короче.

Дурново к 1 января уже был утвержден министром и произведен в действительные тайные советники помимо моего представления, а затем на святую пасху его дочь была сделана также без всякого моего участия фрейлиной их величеств.

Эта своего рода награда была особенно показательна. П. Н. Дурново не особенно примерный семьянин, но обожает свою дочь. Его дочь некрасива, не знатна и не богата. Конечно, для сердца Дурново при таких условиях было большой наградой, если бы его дочь была фрейлиной. Он всячески пытался этого достигнуть, но никак не мог. Об этом в свое время хлопотали и Сипягин (когда Дурново был его товарищем по министерству), и другие, но ничего не выходило. Фрейлины не делались и, ка-

жется, до сего времени не делаются без согласия обеих императриц, а императрица Мария Феодоровна, помня случай Дурново с испанским послом и резолюцию благородного императора Александра III, о назначении дочери Дурново фрейлиною и слышать не хотела. Конечно, Дурново должен был особенно услужить императору Николаю II, чтобы он переломил благородное упрямство своей матушки относительно возведения девицы Дурново во фрейлины их величеств. А затем, когда, совершенно неожиданно для него, Дурново должен был оставить пост министра внутренних дел, после того, как, наконец, моя просьба об оставлении поста премьера была принята, то в вознаграждение за такой конфуз его величеству благоугодно было выдать Дурново двести тысяч рублей, но, конечно, не из своего кармана, а из государственной казны.

Изменил ли я свое мнение относительно Дурново?—Нисколько. Я никогда не считал его человеком твердых этических правил, я в нем ценил и продолжаю ценить ум, опытность, энергию и трудоспособность, но, конечно, Дурново человек не принципов. Если бы государь сразу поставил его на корректную точку и дал ему ясно понять, что, покуда я председатель совета, его выбравший в министры, то я отвечаю за него, и он ничего серьезного не может делать без моего согласия или без моего ведома, то Дурново был бы именно тем министром, который мне был необходим в то время. Затем князь Урусов мог бы его естественно заменить, если бы это оказалось нужным.

А чем лучше Столыпин по сравнению с Дурново? Разве он все, что делал, делал с согласия Горемыкина? Разве по мере вкушения ядовитого плода—власти, почета и материальных благ, ценных для всех его родичей, в особенности родичей его супруги,—Столыпин постепенно не спускал свой конституционный и рыцарский флаг?

Если порассказать лишь то, что мне известно по этому предмету, а мне известно, вероятно, очень мало, то в конце концов нужно признать, что государь император так же оболестил Столыпина, как и Дурново; разница в том, что Дурново мне ножки не подставлял, а напротив, вероятно хотел бы, чтобы я остался, так как знал, что он премьером ни в каком случае тогда назначен не будет, а судя по отношению Горемыкина к Столыпину, едва ли он не считает, что Столыпин желал его ухода, чтобы занять его место.

Недаром государя многие иначе не называют, как *chargeur*'ом!..

Что государь после 17-го октября желал действовать в нужных случаях с каждым министром в отдельности и стремился, чтобы

министры не были в особом согласии с премьером, могу рассказать для примера следующий факт. Как-то раз уже месяца через 2—3 после 17-го октября встречается меня в приемной государя генерал Трепов и говорит мне, что было бы очень желательно выдать ссуду из государственного банка Скалону, офицеру лейб-гусарского полка, женатому на дочери Хомякова, нынешнего председателя Государственной Думы; я ответил ему, что для этого нужно обратиться в государственный банк; он мне ответил, что государственный банк ссуды не выдает, так как она не подходит под кредит, допускаемый уставом. Я ответил, что в таком случае Скалон ссуды не получит, что прежде иногда такие ссуды вопреки устава банка выдавались по высочайшему повелению, но что теперь это невозможно, во-первых, потому что едва ли это соответствовало бы духу 17 октября, а во-вторых, не время говорить о подобных ссудах, когда страна переживает столь сильный финансовый кризис. Что же касается существа дела, то я его не знаю, но по моей опытности в подобных делах, по внешней оболочке дела Скалона, я почти уверен, что государственный банк на этой ссуде поплатится, во всяком случае, она обратится в долгосрочную ссуду.

Затем через некоторое время приходит ко мне министр финансов Шипов и говорит, что он пришел проведать меня по поводу моего здоровья, а я с приезда из Америки все время моего премьерства был нездоров и меня поддерживало только крайне болезненное нервное напряжение. Потом он мне говорит: «Я считаю также долгом моей совести передать Сергею Юльевичу, но не как председателю совета, члену Государственного Совета графу Витте, одну вещь. Во время моего последнего всеподданнейшего доклада государь мне приказал выдать из государственного банка Скалону ссуду в 2 миллиона рублей, прибавив: «Я вас прошу об этом ничего не говорить председателю совета». Я сказал Шипову: «Ну, хорошо, председатель совета об этом ничего не будет ведать, но только мне интересно знать, как же вы поступите?» Шипов мне ответил, что, вернувшись в министерство, он сейчас же написал государю, что он его повеление исполнит, но что он считает необходимым доложить статьи устава банка, в силу которых банк таких ссуд выдавать не в праве, и что эта ссуда и по существу не обеспечена. Я ему на это сказал: «Ну, что же ответил государь?»—«Его величество вернул мне доклад с надписью—«исполните мое повеление», поэтому ссуда из банка выдана».

Но этот всеподданнейший доклад все-таки Шипову даром не прошел. Когда я покинул пост премьера, И. П. Шипова, несмотря на мое ходатайство, оставили без всякого соответствующего назначения, и Коковцов ему предоставил место члена совета государственного банка.

Что же касается этой ссуды Скалону, то еще в прошедшую зиму было представление в финансовый комитет о продлении этой ссуды, но затем представление в комитете не было заслушано. Ссуда до сих пор не заплачена и будет продолжаться до тех пор, покуда Хомяков нужен министерству, как председатель Думы.

Относительно поста министра народного просвещения я находился в затруднении. Управляя министерством Лукьянов, нынешний обер-прокурор святейшего синода, доктор по специальности, профессор патологии медицинского факультета варшавского университета, затем, неожиданно, сделавший такую быструю карьеру: директора института экспериментальной медицины принца Ольденбургского в Петербурге, затем, через несколько месяцев, он делается товарищем либеральнейшего, по специальности классика, а по натуре поэта и чистейшего человека, министра народного просвещения Зенгера, затем остается товарищем генерала Глазова, сменившего Зенгера, а в комитете министров то проводящий самые ретроградные взгляды, то высказывающий взгляды несколько противоположные. Человек неглупый, образованный, талантливый, но если принять во внимание, что одновременно Лукьянов находил время быть любимым собеседником в салоне графини Марии Александровны Сольской, где он декламировал стихи своего произведения, то такая странная карьера из доктора, при том совершенная в несколько лет, становится более объяснимой. Для меня было ясно, что Лукьянов, товарищ министра народного просвещения Глазова, не может внушить какое бы то ни было доверие в ведомстве, в котором все учебные заведения находились в расстройстве, в волнении и забастовке. С другой стороны, после сделанного опыта с профессором и членом Государственного Совета Таганцевым и князем Трубецким, я считал несвоевременным делать дальнейшие опыты. В виду этого я решил остановиться на человеке университетски образованном, не чуждом учебному делу и не могущем возбудить сомнения по своему прошлому, как в общественных слоях, так и в Царском Селе. Я остановился на вице-президенте академии художеств, гофмейстере двора его величества графе Иване Ивановиче Толстом, воспитаннике петербургского университета, в качестве помощника благороднейшего великого князя Владимира Александровича по академии художеств много лет авторитетно управлявшем этим высшим учебным заведением, человеке совершенно независимом и по происхождению хорошо знакомом с так называемым петербургским обществом и дворцовой камарильей. Я не ожидал встретить возражения по поводу этого кандидата и со стороны государя. Лично я мало знал графа Толстого, знал его больше по репутации. Остановился же я на нем,

во-первых, потому, что во время всех забастовок в петербургских высших учебных заведениях, когда многие начальники этих заведений скисли и стали игрушками в руках обезумевшей молодежи, граф Толстой показал, что он не из тех лиц, которые дают себя терроризировать, и вместе с тем он был уважаем студентами академии, во-вторых, и главным образом потому, что, когда его величество расстался с министром народного просвещения генерал-адъютантом Ванновским вследствие его либерализма (невероятно, но факт!), то великий князь Владимир Александрович рекомендовал государю в министры народного просвещения графа Толстого, и его величество усумнился в назначении, как этого, так и другого кандидата на этот пост, о котором будет речь немножко ниже, между прочим, вследствие их консерватизма, чтобы не шокировать профессуру и студентов, и остановился на товарище Ванновского по министерству, либеральном Зенгере, вероятно, рассчитывая, что он хотя и либерален, но не будет проявлять упрямой твердости характера Ванновского (бывшего все время царствования Александра III военным министром) и его менторского по отношению его величества тона.

В виду этих соображений я пригласил к себе графа Ивана Ивановича и просил его принять пост министра народного просвещения в моем кабинете. Граф Толстой совершенно искренно и без всякой аффектации мне сказал, что он не считает себя подготовленным к занятию этого поста, и советовал мне пригласить человека более к сему подготовленного, а после того, как я ему объяснил, что в настоящее время (т.-е. во время октябрьской революции 1905 года) нет охотников на посты министров и что я более медлить образованием министерства не могу, он, заявив, что считает непатриотичным отказываться от боевых постов в настоящее время и от помощи мне в осуществлении и укреплении начал, провозглашенных 17-го октября, сказал, что, если я не имею никого более подходящего, то он, конечно, примет этот пост. Его величество на это назначение сейчас же соизволил выразить согласие. Очевидно, что Лукьянов оставаться товарищем министра народного просвещения при графе Толстом не мог уже потому, что Толстой на это не согласился бы, и, кроме того, Лукьянов сам надеялся получить этот пост. Граф Толстой просил моего совета относительно того, кого ему взять в товарищи к себе. Признаться, я боялся, чтобы он не взял кого-либо из лиц с репутацией либерализма, тем более, что нужно сказать правду, что тогда редко кто не переходил пределы разумного либерализма, считающегося с действительностью и историей. Поэтому я вспомнил имя Герасимова, с которым никогда в жизни не встречался и знал о его существовании лишь по следующему поводу.



Когда его величество удалил министра народного просвещения генерал-адъютанта Ванновского, то пресловутый князь Мещерский, редактор-издатель на казенный счет пресловутого «Гражданина», имел преобладающее и подавляющее влияние на его величество, и он—князь Мещерский—мне тогда говорил, что очень советовал государю назначить министром народного просвещения Герасимова, человека твердых, консервативных принципов, на которого можно положиться. Кстати сказать, князь Мещерский был одним из тех, которые обвиняли генерал-адъютанта Ванновского в либерализме. Я тогда не интересовался узнать, кто такой Герасимов, а князь Мещерский передавал, что Герасимов заведует приютом (нечто вроде гимназии) детей дворян в Москве и находится в большом фаворе у московского предводителя дворянства князя Трубецкого, у всех столпов московского дворянства, в том числе графов Шереметьевых, а потому и у генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Я подумал, что при такой рекомендации Герасимов уже в чем, в чем, а в либерализме не погрешит. Через несколько дней граф Толстой мне передал, что он познакомился с Герасимовым, и он на него произвел отличное впечатление, и что его величество этот выбор совершенно одобрил.

Затем, в течение всего моего премьерства граф Толстой себя держал во всех отношениях умно, уравновешенно и благородно; я ему не могу поставить ни одного действия в упрек. В совете министров он всегда высказывал умеренные и здравые мысли. Герасимов после назначения мне официально представился и затем несколько раз я имел случай слышать его суждения в совете министров. Он на меня и на большинство моих коллег произвел в совете впечатление умного и знающего человека. Затем, когда я покинул пост премьер-министра, его величество, можно сказать, просто уволил графа И. И. Толстого, не дав ему никакого соответствующего назначения, и он—граф Толстой—черносотенной и прессой «чего изволите», а также всеми правыми Государственного Совета объявлен был, если не прямо революционером, то, во всяком случае, жидофильствующим «кадетом».

Герасимов после ухода графа Толстого остался в министерстве Горемыкина и затем Столыпина, но еще ранее ухода министра народного просвещения министерства Горемыкина, а затем и министерства Столыпина, Кауфмана, он—Герасимов—был уволен совсем от службы также за свой либерализм.

Это наглядный пример, как во время революции действий и умов происходит переоценка ценностей.

Мне, вероятно, не придется более возвращаться к Герасимову, а потому я приведу следующий факт, мне достоверно

известный. Когда через год или полтора после оставления мною премьерства его величество уволил Герасимова, то Герасимов просил государя принять его. Государь его принял, и не в общий прием, а в частной аудиенции. Я, узнавши об этом, был удивлен, потому что государь, вообще, в таких случаях уклонялся от свиданий с глазу на глаз, так как избегал не особенно приятных разговоров. Оказалось, что он принял Герасимова, потому что принимал его, когда бывал в Москве, по рекомендации великого князя Сергея Александровича и дворянства, как столпа здравых консервативных идей, и было уже больно совестно уволить такого человека и даже не дать ему возможности объясниться.

При этом свидании, между прочим, было высказано следующее. Само собой разумеется, оказалось, что Герасимов уволен государем потому, что этого желал Столыпин. Герасимов высказал, что он не понимает, почему Столыпин так против него, «что он графа Витте не успел узнать, но что он—граф Витте, повидимому, ему верил, а Столыпина успел узнать и к нему относился с доверием и не понимает причины недоверия к нему Столыпина». На это его величество счел уместным уволенному товарищу министра народного просвещения дать мне не совсем лестную аттестацию. Казалось, что его величеству было бы приличнее быть более сдержанным<sup>1)</sup>. Герасимов этим разговором был очень удивлен и передал его нескольким лицам, а в том числе и М. А. Стаховичу, от которого об этом разговоре я знаю. После официального приема Герасимова, когда он был назначен товарищем министра, я с ним нигде не встречался наедине и увиделся только через некоторое время после его увольнения по поводу одного заседания Государственного Совета, в дебатах которого я принимал участие; из разговора с Герасимовым я вынес впечатление, что то, что мне передал Стахович, было верно.

Воображаю, какие отзывы его величеству благоугодно было высказывать обо мне господам Дубровину и прочим членам этой черносотенной шайки, когда он неоднократно наедине принимал их. Зная государя, я себе представляю приблизительно такую сцену: «Ваше величество, самодержавнейший государь, все несчастье России произошло от этой подлой конституции, от этого ужасного манифеста 17-го октября, это жидовское навождение и как это ты, обожаемый батюшка-царь, мог подписать такую бумагу?»—говорит Дубровин или ему подобный. Ответ: «Это граф Витте меня подвел».—«Самодержавнейший, благочестивей-

---

<sup>1)</sup> Вариант — На это его величество будто бы ответил:

— А вот я хорошо знал и знаю графа Витте, а потому ему не доверяю.

Я хотел бы думать, что такой разговор не имел места, ибо мне представляется, что каждое слово государя имеет такое значение, что пускать его на ветер не подобает.

ший государь, мы—русские люди это чуяли, мы с ним расправимся». Затем господу Дубровину и К-о и пошли действовать...

Пост государственного контролера я предложил товарищу государственного контролера Философову, человеку совершенно достойному, чистому, умному и знающему. Если я предлагал этот пост Д. Н. Шипову, то потому, что Д. Н. Шипов совершенно заслуженно пользовался, как человек и общественный деятель, доверием большинства партий, что, по моему мнению, необходимо именно для государственного контролера, доколе ведомство государственного контролера, приуроченное к самодержавно-абсолютному режиму, не будет приспособлено к новому режиму, созданному манифестом 17-го октября. В то время Философов был мало известен общественным сферам, и качества Философова знали только лица, которые с ним сталкивались по службе. Философов принял мое предложение, но поставил условием, чтобы с созывом Думы были установлены иные основания для государственного контроля вообще и государственного контролера в частности, которые бы были поставлены в соответствие с новым режимом, что до сих пор не сделано. Философов в течение всего моего премьерства вел себя во всех отношениях безукоризненно, всегда держась направления либерального и разумного.

Наконец, что касается министерства торговли, то я предложил занять это место В. И. Тимирязеву, товарищу министра финансов, заведывавшему отделом торговли до 17-го октября и образования нового министерства из этого отдела и главного управления торгового мореплавания. Тимирязева я знал давно, как неглупого чиновника, всегда занимавшегося канцелярскими делами по торговле и промышленности, в этом отношении обладающего большой опытностью, хорошо канцелярски владеющего пером и хорошо знающего иностранные языки. Когда я был директором департамента железнодорожных дел министерства финансов, он уже был вице-директором департамента торговли и мануфактур, и я близко познакомился с ним, будучи одновременно членом комиссии под председательством министра финансов Вышнеградского, которая выработала первый таможенный протекционный тариф, затем в 1890 или в 1891 году еще при Вышнеградском введенный в действие. Тимирязев был одним из делопроизводителей этой комиссии.

Когда в 1892 году я стал министром финансов, то, задавшись целью, между прочим, подъема торговли и промышленности,— а в то время министр финансов был и министром торговли,— мне пришлось, за смертью директора департамента торговли и мануфактур Бера, заместить этот пост; я хотел назначить на

это место человека более талантливого и живого, нежели Тимирязев, а потому предложил этот пост В. И. Ковалевскому, а так как Тимирязеву было неудобно оставаться при этом условии вице-директором департамента, то он был назначен агентом министерства финансов в Берлине, где и пробыл почти все время, покуда я был министром финансов. Года за полтора до моего ухода с поста министра финансов Ковалевский должен был покинуть пост моего товарища по делам торговли и промышленности, и я взял на его место Тимирязева. Я обратился к Тимирязеву потому, что не придавал этому посту особого значения, так как дела этого министерства сам знал хорошо, к тому же я назначил к нему товарищем М. М. Федорова, также хорошо знающего дела торговли и промышленности. Конечно, от Тимирязева никакой инициативы и таланта я не ожидал, и это мне и не было особенно нужно, но я ожидал корректности и в этом ошибся. Тогда же, когда назначение Тимирязева было решено, но не было еще опубликовано, ко мне пришел М. М. Федоров и советовал мне не назначать Тимирязева, как человека, политически не совсем корректного. Я на это не обратил внимания. Должен сказать, что после весьма каялся, что взял этого карьериста-чиновника в мое министерство. Прежде всего, меня удивила Тимирязевская левизна во многих его суждениях в совете министров, но на это я не обращал внимания. Затем в течение моего премьерства, покуда не ушел Тимирязев, то, что высказывалось в совете министров и даже в конфиденциальных заседаниях, когда не допускались в совет даже начальники отделений канцелярии комитета министров, каковые места в то время занимали люди испытанной скромности, на другой день сообщалось и преимущественно в левых газетах и часто в тоне, несколько рекламирующем Тимирязева. На это часто сетовали другие министры. Это меня вынуждало несколько раз в заседаниях совета просить быть более сдержанными и не разглашать ни то, что говорится в заседаниях, ни принимаемые решения, при чем я указывал на то, что за границей в самых либеральнейших странах газеты знают из того, что говорится в заседаниях, то, что совет министров считает нужным разгласить; обыкновенно в этих случаях Тимирязев сидел и делал вид, что, конечно, эти рассуждения до него не относятся, так как он вне подозрений. Между тем, когда он покинул пост в моем министерстве, я узнал, что чуть ли не каждый день к нему приходили корреспонденты левых газет, и он им болтал все, что правительство делает и намеревается делать, всегда с выставлением себя ультра-либеральнейшим деятелем. На меня все время чиновник Тимирязев, встречавший и провожавший в Берлине с надлежащим подобострастием каждого русского сановника, уже не говоря о членах царской семьи, по отношению к монархической власти напоминал такого слугу и то определен-

ного типа, который чесал на ночь пятки своему барину, покуда он имел средства, и вдруг перестал даже ему кланяться, когда он впал в нищету... Тимирязев, конечно, вследствие довольно долгого пребывания за границей, вероятно, несколько позабыл, что такое Россия, и вообразил себе, что конец монархии, и наступает эра демократической республики, и соответственно сему себя держал. Когда же он увидал, что ошибся в апреснации, то повернул оглобли, но об этом скажу позже.

Еще до переезда в дворцовый дом я расстался с министром путей сообщения князем Хилковым, прекраснейшим человеком, отличным железнодорожником, но не министром путей сообщения. Он был техник-практик, милейший человек, но совсем не администратор.

Вместо него я предложил место министра путей сообщения начальнику юго-западных дорог Немешаеву. Я лично его мало знал, но он пользовался хорошо репутацией как инженер (путей сообщения) и как опытный железнодорожный администратор. Юго-западные дороги в смысле репутации своей—лучших ж. д. в России в отношении личного состава, в смысле коммерческом, как доходное предприятие, наконец, в смысле образцового порядка, в значительной степени были мною созданы, когда я проходил на этой дороге службу и был ее управляющим, а потому аттестация тамошних деятелей затем делалась мне моими бывшими подчиненными, когда мне приходилось их встречать, и, следовательно, по этим аттестациям я хорошо знал Немешаева.

Кроме того, я остановился на Немешаеве потому, что я знал, что он будет приятен государю. Государь мне в прежнее время, когда проезжал по дорогам юго-западным, всегда хвалил их и симпатично выразился о Немешаеве. Его величество сейчас же согласился на увольнение князя Хилкова, с которым я был связан дружбою десятки лет и оставался дружен до его смерти, и на назначение Немешаева на пост министра путей сообщения. Все забастовки и расстройства на железных дорогах произошли во время князя Хилкова, и Немешаеву пришлось восстанавливать порядок на железных дорогах, а также восстанавливать движение, с чем мы после 17 октября очень скоро справились.

Военным министром до 17 октября был Редигер, и я не имел в виду с ним расстаться, так как считал и поныне считаю его весьма толковым и знающим военным министром.

Морским министром был Бирилев, неглупый и недурной человек, но более болтун, нежели делец. Против него я тоже ничего не имел.

Министром юстиции был Манухин, человек весьма дельный и умный, прекрасный юрист и безусловно порядочный и честный человек. Я не только против него ничего не имел, но очень дорожил, чтобы он был в моем министерстве.

Министром иностранных дел был граф Ламсдорф, человек, которого я глубоко уважал и любил, прекраснейший министр иностранных дел, но человек весьма скромный, обидчивый и во всех отношениях не показной. О замене его в моем министерстве и речи быть не могло.

Министрами—финансов Коковцовым и земледелия Шванебахом я не дорожил, но если бы они с своей стороны перестали интриговать и вели себя спокойно, то я с ними ужился бы.

Обер-прокурором святейшего синода был назначен князь А. Д. Оболенский; он им оставался во все время моего министерства. Свое дело он вел недурно, и если бы он оставался обер-прокурором, то, может быть, он не допустил бы той черносотенной бесшабашной политической струи, которая ныне проникла в нашу православную церковь. Я говорю, может быть, так как князь представляет собою тип великосветского титулованного либерала, но никогда не забывающего «свою линию удобств и выгод».

Участвуя в заседаниях совета в качестве равноправного члена, он постоянно метался из стороны в сторону. Он томился противоположностью своего привитого дворянского либерализма 80-х годов с проявлением многих из этих либеральных начал на почве демократической действительности. Он вмешивался в вопросы всех ведомств, хлопотал об устройении положений своих родственников и знакомых и прыгал в своих мнениях от одной крайности к другой.

Когда в последние месяцы существования моего министерства он понял, что я долго не останусь, то он поднял вопрос о том, что обер-прокурор святейшего синода не должен входить в объединенное министерство, говоря прямым языком, его положение не должно было зависеть от участи того или другого министерства, и соответственно сему желал дополнения закона о совете министров. Но, желая выделить свое ведомство православных духовных дел из совета министров, он, тем не менее, как обер-прокурор, желал продолжать принимать участие в совете в качестве равноправного члена. Конечно, я свое сочувствие этому проекту не оказывал.

Еще до моего переезда в дворцовый дом, в первые дни после 17-го октября, произошло одно из чрезвычайно важных собы-

тий, которое придало акту 17-го октября как бы особую печать новой государственной жизни, отделяющей старое от нового времени, конституционного, или времени народного правительства, как предпочитают говорить теперешние министры со Столыпиным во главе, опасаясь, вероятно, чтобы заморское слово конституция не вызвало нелюбезного лица императора или руготни на жаргоне публичных домов газеты Дубровина («Русское Знамя»).

Я хочу сказать об акте политической амнистии. Манифест 17 октября никакой амнистии не обещал, но амнистия была на устах у всех. Я просил министра юстиции Манухина сообразить этот вопрос и затем я собрал совет министров в помещении генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел Трепова. Заседание было назначено в этом помещении (на Морской, бывшее помещение министра внутренних дел), так как около сего помещения преимущественно жили долженствовавшие принимать участие в заседании; присутствовали Трепов, П. Н. Дурново, Манухин, с одним из директоров департамента своего министерства Щегловитовым, Коковцов, Шванебах, государственный секретарь барон Иксуль, министр двора барон Фредерикс, Философов, товарищ государственного контролера, товарищ министра народного просвещения Лукьянов, временно управляющий министерством, остальных не помню.

Относительно необходимости после 17 октября оказать акт забвения высказались все; один только Трепов как бы высказывался против, но потом начал говорить за и под конец желал полную амнистию без всяких исключений. Манухин высказался за широкую амнистию, но за исключением убийц-революционеров, относительно же последних допустить уменьшение наказаний в определенной градации. Это мнение и было принято большинством, к которому и я присоединился и которое было высочайше утверждено и немедленно приведено в исполнение. Это была первая широкая политическая амнистия в России, связанная с признанным в то время политическим преобразованием России, т.-е. переходом от империи полицейской к империи правовой, которая немыслима без известного подразделения власти между монархом и народным представительством, конечно, представительством более или менее не фиктивным, т.-е. не таким, которое государственным переворотом, совершенным Столыпиным в июне 1907 года при усиленных чрезвычайных и военных положениях, у нас в России водворилось.

Достоинно внимания, что в защиту расширения амнистии в сказанном заседании весьма толково говорил П. Н. Дурново, а докладчик Щегловитов так и сыпал доводами газеты «Речь», т.-е. крайних кадетов того времени. Я в душе немного побаивался амнистии, но считал ее необходимою, раз мы стали на путь 17 ок-

тября. И в настоящее время после всего пережитого я эту амнистию считаю мерою правильною.

Во время этого заседания барон Иксуль меня спросил, знаю ли я, что сегодня Коковцов подал государю прошение об увольнении. Я не знал и ответил, что не знаю причины этого поступка, что я не имел в виду его заменить и не думал с ним расставаться, но только решил образовать министерство торговли, взявши из министерства финансов все, что непосредственно относится до торговли и промышленности, о чем я говорил председателю Государственного Совета графу Сольскому, но что мне его заменить не представляет никакого труда. На другой день ко мне явился Коковцов и просил меня написать государю, чтобы он не давал последствия его прошению. Я ему ответил, что это теперь очень неудобно делать, и упрекал его в некорректности, что он подал прошение, меня не предупредивши. Он все свалил на графа Сольского, говоря, что ему граф Сольский это советовал, уверяя, что я с ним—Коковцовым—служить не хочу. Когда он убедился, что я этого Сольскому не говорил, то начал очень сожалеть о своем прошении, а затем начал плакать, говоря буквально следующее:

«Что я буду делать? Хорошо вам, когда вы были не у дел, читали, писали, меня же все это не интересует,—я умру со скуки».

Последовало увольнение Коковцова, и вместо него я просил назначить директора департамента казначейства Шипова, прекрасного, умного, честного и знающего человека, но только с хитрецою. Затем я узнал, что граф Сольский хочет просить государя назначить Коковцова председателем департамента экономии Государственного Совета. Но ранее государь прислал мне прошение Коковцова, из которого я усмотрел, что Коковцов в этом прошении инсинуирует против 17 октября, поэтому я категорически воспрепятствовал этому назначению.

В дворцовом доме, в который я переехал, часть помещения была отдана под залу заседаний совета министров, мой кабинет и маленькую канцелярию; заседания совета по несколько раз в неделю происходили тут, а заседание комитета министров, председателем которого я остался, попрежнему в Мариинском дворце. Особой канцелярии совета формально образовано не было, но часть канцелярии комитета занималась советскими делами, и фактическим управляющим делами совета сделался помощник управляющего делами комитета (ныне сенатор) Вуич.

Я выделил дела советские от комитетских, чтобы по советским делам не иметь постоянных сношений с управляющим делами



бароном Нольде, умным, знающим, порядочным и толковым человеком, по типу петербургского чиновника.

Вуич на меня ранее производил впечатление крайне симпатичного человека. За время моего премьерства, когда он, можно сказать, занимался при мне днем и иногда ночью, и затем и после этого,—я убедился, что это редко чистый, добросовестный и прекрасный человек. Оригинально то, что он женат на любимой дочери Плеве, и они замечательно хорошо и семейно живут.

У Плеве было двое детей—дочь, жена Вуича—и сын, теперешний управляющий делами совета министров, из черносотенного лагеря. Честное и добросовестное служение со мною Вуича внесло раздор в семейство Плеве. Жена Вуича, конечно, была на стороне мужа.

В числе важнейших задач, которые предстояло решить моему министерству, было—переменить выборный закон, установленный при опубликовании Думы 6-го августа 1905 года (Булыгинской).

Один закон был выработан общественными деятелями в Москве. Поручение это, как уже сказано, взяли на себя Д. Н. Шипов, Гучков и князь Трубецкой или, вернее сказать, напросились на это поручение. Это обстоятельство именно несколько и замедлило опубликование закона о выборах и созыв самой Думы.

Другой закон был выработан Крыжановским (служившим в министерстве внутренних дел, составившим выборный закон и Булыгинской Думы) по моим указаниям и под моим руководством. Оба эти закона затем были рассмотрены в особом заседании комитета министров под моим председательством. В комитете министров в качестве членов по закону присутствовали председатели департаментов Государственного Совета (граф Сольский, Фриш и Голубев), некоторые приглашенные мною члены Государственного Совета—А. А. Сабуров, Таганцев, затем общественные деятели, участвовавшие в составлении их проекта: Шипов, Гучков, Стахович, Муромцев (будущий председатель первой Государственной Думы), Кузьмин-Караваев и граф Бобринский. Последний не принимал участия в составлении проекта закона, но, будучи ранее мне представлен, высказывал по тому времени довольно консервативные взгляды, особенно относительно будущего выборного закона, из-за этого именно он был мною приглашен.

В заседании значительное большинство членов склонилось к проекту, выработанному Крыжановским (ныне занимает пост государственного секретаря) под моим руководством, сделав в нем некоторые поправки второстепенного характера. В этом большинстве участвовал и граф Бобринский, который горячо спорил с остальными общественными деятелями, опровергая их проект. Остальные общественные деятели поддерживали

их проект и особенно много говорил, поддерживая проект общественных деятелей, Муромцев.

Я тогда в первый раз увидел этого почтенного старика, и он на меня не произвел особенно симпатичного впечатления. Из членов правительства, участвовавших в заседании, к проекту общественных деятелей примкнули Философов (принципиальный либеральный деятель), князь Оболенский (у которого либерализм часто был средством для личных целей) и еще один или два деятеля, не помню, кто именно. Оба проекта затем обсуждались в особом совещании под председательством государя, в котором кроме министерства, членов Государственного Совета, присутствовавших в комитете министров, государем были приглашены некоторые великие князья (помню, Михаил Александрович), еще некоторые члены Государственного Совета архи-консервативного направления (Стишинский, Горемыкин, граф Игнатьев и еще некоторые), а также общественные деятели по моему указанию: Шипов, Гучков, барон Корф и граф Бобринский. Первые двое, конечно, должны были поддерживать проект общественных деятелей, а вторые двое—я рассчитывал, будут высказываться против—граф Бобринский потому, что он горячо и убежденно высказывался против в заседании комитета министров, а барон Корф, как земец весьма умеренных взглядов, а к тому же известный императрице (а следовательно и императору) по благотворительной деятельности. Проект общественный и правительственный отличались тем, что второй исходил из начал Булыгинского закона, при чем нисколько не трогал всего, что касалось крестьянских выборов, а только расширил закон привлечением к выборам деятелей так называемых вольных профессий, квартирантов и рабочих. Первый же проект, т.-е. проект общественных деятелей, делал значительно больший шаг к идеалу того времени кадетов, т.-е. к всеобщим прямым, равным и тайным выборам, иначе говоря, к так названной четыреххвостке (вероятно, потому что осуществление этого простого проекта было бы наказанием имущих и сильных, кнутом в четыре конца).

Его величество, открыв заседание и после моих кратких объяснений, в которых я старался быть возможно более объективным, обратился к общественным деятелям и, к моему удивлению, не только Шипов и Гучков, но и граф Бобринский и барон Корф высказались за проект общественных деятелей, безусловно его поддерживая.

Я ранее говорил государю, что двое будут поддерживать проект, а двое, вероятно, возражать, поэтому его величество был удивлен речами Корфа и особенно графа Бобринского.

После того, как общественные деятели высказались, государь прервал заседание и затем отпустил этих деятелей. После

заседание возобновилось без них. Во время перерыва я подошел к графу Бобринскому и недоумевающе спросил его:

— Как же вы, граф, защищали проект, против которого вы так недавно горячо возражали?

На это он мне ответил:

— Ваше сиятельство, после заседания комитета министров я пробыл в деревне, видел много народу и пришел к убеждению, что теперь никакой проект Россию не удовлетворит, кроме крайне демократического, а потому я и поддерживал проект общественных деятелей.

Затем заседание возобновилось, несколько членов говорили за проект общественных деятелей, а большинство за правительственный, но дело не было решено. Я видел, что его величество колебался.

На другой день было какое-то торжество, я видел императрицу и заговорил с ней об этом деле, высказав, что государь сделает ошибку, согласившись на крайний проект. Это единственный раз, когда я обратился к ее величеству по вопросам государственным, рассчитывая на ее влияние. Заседание опять возобновилось, некоторые члены говорили за проект общественных деятелей, а большинство опять за правительственный проект, в том числе Таганцев и Сабуров, которые, вообще, не без основания считались и считаются культурными либералами. Мне пришлось опять говорить, при чем, стараясь быть возможно объективнее и указывая на преимущества и недостатки обоих проектов, я все-таки высказывался за правительственный, т.-е. мой проект. В результате государь сказал, что он принимает и утвердит правительственный проект. Когда этот закон был обнародован, большинство, поскольку общественное мнение выражалось в прессе, находило его недостаточно всеобщим и вообще неудовлетворяющим современным течениям общественного и народного сознания. А затем, когда начались выборы и увидели, что и этот закон дает таких представителей, которые будут выражать тенденцию «против сильных», а равно высказывается за широкое понимание акта 17 октября, и когда начали сознавать, какие же выборы получились бы, если бы был принят еще значительно более демократический проект общественных деятелей, то тогда поняли, что правительственный проект представляет *pari passu* той демократичности, которая по тем временам была возможна <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> \* Шипов и Гучков даже по проекту правительственному в Государственную Думу не попали. Шипов (человек принципиальный и политически несомненно, честный) был выбран от земцев в Государственный Совет. Гучков не был выбран и во вторую Думу. Для того, чтобы он мог попасть в 3-ю Думу, нужно было, чтобы явился такой господин, как Столыпин, который, начихав на основные законы, ввел новый выборный закон, который

Когда выборный закон был объявлен, то у меня был граф Гейден (также один из видных общественных либеральных деятелей того времени) и между прочим сказал:

— Как хорошо, что прошел ваш выборный закон, а то, если бы прошел законопроект общественных деятелей, то получилась бы такая Дума, которую пришлось бы сейчас закрыть.

Графа Гейдена я встречал, как управляющего канцелярией главноуправляющего комиссии прошений генерал-адъютанта

---

основан на том начале, чтобы давать в Думу большинство сильных, т.-е. такое большинство, которое всегда будет плясать под дудочку правительства, если только таковое не будет состоять из кретиннов.

Гучков же даже по этому новому выборному закону 3 июня рисковал не попасть в Думу и, так как Столыпин очень хотел, чтобы Гучков попал, то приказал для этой цели бывшему градоначальнику генералу Рейнботу пустить в ход подкуп, что Рейнбот и исполнил, как это было обнаружено на судебном следствии по делу генерала Рейнбота в Москве, когда он был без достаточных оснований устранен Столыпиным от должности и предан суду; если не считать достаточным основанием то, что одно время Рейнбот был в большой милости у государя, а потому мог явиться в будущем конкурентом Столыпину. Гучков, будучи таким образом выбран в Думу, пошел на служение г. Столыпину, а теперь обратился в тип «чего изволите», а потому сделался серьезным пайщиком «Нового Времени». Точно так и граф Бобринский попал только в 3-ю Думу по Столыпинскому закону 3-го июня, закону-собирателю «сильных».

Графа Бобринского я мало знаю, знаю, что он сначала служил в лейб-гусарском полку, а затем вышел в отставку и сделался таким красным зайцем, что государь, когда был в Ялте в девяностых годах, не пожелал принять Бобринского вследствие его левых выходов. Затем смута 1904—1905 годов, погрозившая сильно карманам богатых вообще и больших землевладельцев в частности, повидимому, сбила почтенного графа с панталыка. Попав в 3-ю Думу под знаменем 17 октября, он стал там затем националистом и нередко произносит речи à la Пуришкевич (балаганно-реакционные).

Далее говорят и, кажется, не без основания, что за его — графа Бобринского — хорошее поведение он получил из государственного банка ссуду в несколько сот тысяч рублей, без которой его дела потерпели бы полное крушение.

Во всяком случае почтеннейший граф человек очень увлекающийся и неустойчивый.

Его отец, граф Алексей Бобринский, при Александре II был министром путей сообщения, и я служил под его начальством. Это был благороднейший и честнейший человек, но тоже не без странностей. За свое благородство он угодил, будучи министром путей сообщения, на гауптвахту за то, что не потрафил княгине Долгорукой (Юрьевской) в ее денежных аферах, а затем вышел в отставку и более не являлся в столицу. Вероятно, это обстоятельство несколько повлияло на водворение в его сыне микробов либерализма, но либерализма графского, который улетучился сейчас, как только этот аристократический либерализм встретился с либерализмом голодного желудка русского народа. Вообще, после демократического освобождения в 60-х годах русского народа самодержавным императором Александром II с принудительным возмездным наделением крестьян землею, между высшим сословием Российской империи появился в большой дозе западный либерализм. Этот либерализм выражался в мечтах о конституции,

Рихтера; он на меня произвел впечатление честного, порядочного и образованного чиновника-сухаря, и я недоумевал, когда в 1904—1905 годах он вдруг явился одним из столпов общественных деятелей, стремившихся ввести конституцию. Все-таки справедливость требует сказать, что граф Гейден ранее других предусмотрел, что «народ идет», и, попав в первую Думу, он держал себя в высшей степени уравновешенно и благородно, будучи на правой стороне \*

---

т.-е. ограничении прав самодержавного государя императора, но в ограничении для кого? — для нас, господ дворян.

Когда же увидали, что в России, кроме монарха и дворян, есть еще народ, который также мечтает об ограничении, но не столько монарха, как правящего класса, то дворянский либерализм сразу испарился. Впрочем, в известной степени почти везде на западе было то же: сначала высшее сословие ограничивало монарха, а потом народ ограничивал это сословие, включая сюда денежную буржуазию. В настоящее время последняя стадия этого процесса резко проявляется в Англии\*.